

ИЗ «ТЮТЧЕВИАНЫ» ДАВИДА САМОЙЛОВА

Андрей Немзер
(Москва, НИУ – ВШЭ)

Стихотворение «Я ехал по холмам Богемии...» было написано в 1968 году (после 21 августа, вероятно — вскоре), а напечатано в четвертой книге Самойлова «Волна и камень» (М.: Советский писатель, 1974). Удивление вызывает не задержка публикации, а сам ее факт. В 1970-м, когда увидела свет третья самойловская книга «Дни» (М.: Советский писатель), поэт, недавно числившийся в «проскрипционных списках»¹, оставался в крепком подозрении; лишь еще четыре года спустя текст с отчетливой политической семантикой мог быть представлен публике, видимо, как образчик «пейзажно-медитативной» лирики. Два других, трагически резких, отклика Самойлова на ввод советских войск в Чехословакию (разгром «пражской весны») — «В этой Праге золотой...» и «Не у кого просить пощады...» — оставались потаенными до наступления новых времен², однако вдумчивый читатель получил ясный сигнал об отношении поэта к карательной акции и сделавшей ее возможной общественно-политической ситуации в СССР на исходе 60-х.

Характеризуя, как сказали бы сейчас, интертекстуальную поэтику «Волны и камня», автор единственной монографии о Самойлове пишет: «Достаточно образа “Нас восхваляет критик наш румяный” в “Легкой сатире”, реминисценции “И грянул бой...” в лирическом диалоге “Солдат и Марта” или простого переноса ударения на один слог: “Я ехал по холмам Богемии”, — и мы вспоминаем “Румяный критик мой, насмешник толстопузый...”, “Полтаву” и “На холмах Грузии лежит ночная мгла...” Пушкина, связь с пушкинской традицией установлена»³. Не касаясь здесь двух других названных исследователем стихотворений, замечу, что в нашем случае легко распознаваемая акцентная цитата работает странно, если не сказать — обманчиво. Намеченная смысловая линия развития не получает, никаких иных пересечений с элегической миниатюрой Пушкина в стихотворении Самойлова нет. Место пушкинской тьмы (словно бы возведенной в квадрат квазитавтологиическим словосочетанием «ночная мгла») занимает свет, не только прямо названный, но и позволяющий различить и запечатлеть яркие черты (краски) пейзажа: «Та почва тяжелая, красная/ И хмеля зеленый дымок». Статичная позиция лирического субъекта заменена динамической уже в первой строке, повторенной в начале третьего, заключительного, катрена, причем здесь мотив явственно усилен: «Я ехал по холмам Богемии,/ Вкушая движенье и свет» (курсив мой). Сами «холмы» центральноевропейской страны качественно отличны от «холмов» (предгорий) Грузии, за которыми неизбежно угадываются «настоящие» горы⁴. Ночная и горная атмосфера

¹ См. дневниковые записи от 30 марта и 29 апреля 1968: «Я попал в проскрипционные списки <...> Наступление продолжается. / Ожидаемого спада не чувствуется. Пассивность подвергшихся опале и отсутствие поддержки со стороны интеллигенции распяляет карающих. / Моя книга в Гослите отложена. [Имеется в виду дошедшая до верстки книга избранного «Равноденствие»; в существенно измененном виде была выпущена в свет издательством «Художественная литература», которое Самойлов по старой памяти именуется «Гослитом» в 1972 году. — А. Н.]. / Положение швах. / Ходят разные слухи, преимущественно неутошительные <...> Моя подпись стоит под письмом о Гинзбурге и Галанскове» (Самойлов Давид. Поденные записи: В 2 т. М., 2002. Т. 2. С. 38, 39; знаком / отмечаются абзацы дневника).

² Оба стихотворения были напечатаны уже после смерти поэта в журнале «Знамя» — 1994. № 9; 2000. № 6; см. также: Самойлов Давид. Стихотворения. СПб., 2006. С. 500; далее страницы этого издания указываются в скобках.

³ Баевский Вадим. Давид Самойлов: Поэт и его поколение. М., 1986. С. 141.

⁴ В первоначальном варианте стихотворения («Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла. / Мерцают звезды надо мною...») горная вертикаль и соответственно «космический» рисунок окружающего пространства были явлены еще отчетливее. Оставленная поэтом версия (с 1930-х гг. печатавшаяся в разделах «редакции и

пушкинского текста предполагает «метафизически» окрашенную тишину, которую отнюдь не нарушает (но оттеняя — усиливает) шум Арагвы. Поэт не воспринимает «речь» окружающего пейзажа (потому и лишённого конкретных примет, «космического»), а вспоминает свою давнюю, но по сей день не отпускающую любовь (первоначальный вариант) или переживает новое могучее чувство (вариант, опубликованный Пушкиным под названием «Отрывок» и ставший «каноническим»)⁵. У Самойлова пейзаж сообщает поэту, внемлющему ему бессознательно («вкушающему движенье и свет»), нечто «свое», непонятное, с лирическим субъектом вроде бы не связанное. Нет и намёка на прежнюю или нынешнюю любовь, как нет и катарсического разрешения, намеченного у Пушкина уже оксюморном «печаль моя светла». Напротив, Самойлов завершает текст противопоставлением прежнего состояния («блаженного» неведения) и будущих (уже обретших плоть, ставших нынешними) бед⁶. В коде возникает еще одна — и тоже легко улавливаемая — цитата из не менее «хрестоматийного», но отнюдь не пушкинского поэтического текста. Строки «И был я намного блаженнее / В неведенье будущих бед» (173) полемически ориентированы на вошедшее в ряд «крылатых слов» двестише Тютчевского «Цицерона» в первой редакции: «Блажен, кто посетил сей мир / В его минуты роковые»⁷.

В отличие от Тютчева, Самойлов не хочет быть зрителем «высоких зрелищ», собеседником «всеблагих», заживо допущенным к чаше с напитком бессмертия. Блаженство связано с пиром иного рода — приобщением к природному миру (почти растворением в нем), повествуя о котором, Самойлов тоже цитирует Тютчева — и тоже полемически. Насыщенный светом, цветом и движением пейзаж предстает «светлым» отражением тютчевского ноктюрна, где «Цвет поблекнул, звук уснул — / Жизнь, движенье разрешились / В сумрак зыбкий, в дальний гул...». Тютчев грезит о преодолении границы, разделяющей «я» и «не-я» («мир»), которое сперва переживается как свершившееся («Всё во мне, и я во всём!»), а затем — как вожденное, но едва ли достижимое: «Дай вкусить уничтоженья, / С миром дремлющим смешай!» («Тени сизые смешались...»)⁸. Самойлов, «вкушая движенье и свет» (у Тютчева если не вполне исчезнувшие, то обретшие инобытие!), о тяге к «уничтоженью» ничего не говорит. Его утраченное блаженство связано не с запредельностью, но с осязаемо земным бытием; поэт ориентируется на альтернативный извод тютчевского мифа о счастье, представленный, например, в хронологически близком к «Тени сизые смешались...» стихотворении «Нет, моего к тебе пристрастья...»: «Весь день в бездействии глубоко / Весенний теплый воздух пить, / На небе чистом и высоком / Порою облака следить, / Бродить без дела и без цели / И ненароком, на лету, / Набрести на свежий дух синели / Или на светлую мечту?...»⁹.

варианты» более-менее авторитетных пушкинских изданий), безусловно, существует в читательской памяти наряду с привычным («основным») текстом.

⁵ О творческой истории стихотворения см.: Бонди С. «Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла...» // Бонди С. Черновики Пушкина: Статьи 1930–1970 гг. М., 1971. С. 16–25.

⁶ Эта коллизия поддержана грамматически: все глаголы самоейловского стихотворения прошедшего времени, описывается в нем миновавшее. Между тем у Пушкина переживаемое «событие» и поэтический отчет о нем синхронны: глаголы даны в форме настоящего времени.

⁷ Тютчев Ф.И. Полн. собр. стихотворений. Л., 1987. С. 309, 105. Хотя Тютчев заменил присутствовавшее в первой публикации («Денница: Альманах на 1831 год») слово «блажен» на «счастлив» уже в публикации «Современника» (1836. Т. 3), память о нем сохранилась — то ли благодаря «общей» поэтической формуле «блажен, кто...», то ли — вопреки намерениям автора — из-за соседства с субстантивированным прилагательным «всеблагие», видимо, стимулировавшим правку.

⁸ Там же. С. 127.

⁹ Там же. С. 127–128. В этом издании оба стихотворения даны с датировкой <1835>; в двухтомнике, подготовленном К.Ф. Пигаревым, более осторожно: «Написано, судя по почерку, в 30-х годах» — Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. М., 1965. Т. 1. С. 365, 366; ср. также: Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. Кн. первая. 1803–1844. М., 1999. С. 150 (перечень стихотворений, написанных в «первой половине 1830-х годов»).

Важной (если не определяющей!) особенностью блаженства у Самойлова оказывается «неведение», вырастающее из неспособности поэта понять то «разное», о чем говорит ему природа. Двигаясь от последней строфы стихотворения (явная полемическая реплика на концепцию «Цицерона» через срединную (более мягкий спор с «Тени сизые смесились...») при учете другой составляющей тютчевской мифологии) к инициальной, мы и здесь обнаружим реминисценцию Тютчева, замаскированную акцентной цитатой из Пушкина¹⁰ и открывающуюся по уяснению общего тютчевского контекста стихотворения.

Самойловский зачин точно соответствует тютчевскому — «Через ливонские я проезжал поля...»¹¹. В обоих случаях речь идет о некогда совершенном перемещении («ехал», «проезжал») по восточноевропейской стране, пограничному пространству, в разные времена входившему (входящему) в состав противоборствующих «империй». Употребленные поэтами названия этих территорий (Ливония, Богемия) вышли из обихода, стали «историзмами» и/или «поэтизмами». Так в оба стихотворения вводится главная — историческая — тема.

Тютчев вспоминает о «былом печальной сей земли», вопрошает о нем природу и не получает ответа. Самойлов нечто слышит, не может (или не хочет) расшифровать речь «почвы» и «хмеля» и постигает ее значение *post factum*. У Тютчева природа отделена от истории; она молчит о «ночном» прошлом («ночные чары» последней строфы могут прочитываться как в «эротическом», так и в «магическом» кодах, но отсвет явленных ранее эпитетов «кровавый» и «мрачный» ощутим при любой трактовке). У Самойлова природа хранит память о минувшем. С одной стороны, «почва тяжелая, красная» противопоставлена «песчаной земле» Тютчева, такой же «бесцветной», как «грунт небес» (курсив мой). С другой же, характеризующие «почву» эпитеты ассоциируются с «кровавой и мрачной» порой, тайны которой не разглашает унылый тютчевский пейзаж. Молчание природы у Тютчева связано с осенью, ее безуспешная говорливость у Самойлова — с весной¹². Поэту, едущему по холмам Богемии, кажется, что весенний говор лишен смысла и освобождает его от гнета исторической реальности, меж тем как речь почвы (напитанной кровью) и молодого хмеля (ассоциативно связанного с грядущим похмельем) пророчит будущие беды, неизбежно вырастающие из злосчастия прошлого.

Таким образом Самойлов оперирует с еще одним характерным тютчевским сюжетом, переводя его из синхронии в диахронию. В ряде стихотворений Тютчева поэт, обретающийся в «райском» пространстве, слышит угрожающий голос стихии (которая может отождествляться с трагическим земным бытием и/или историей). Так происходит в «Сне на море», где чудесно открывшийся космос и природный хаос равно владеют «двойным» сознанием поэта («Но все грезы насквозь, как волшебника вой,/ Мне слышался грохот пучины морской,/ И в тихую область видений и снов/ Врывалась пена ревущих валов») и в «Пламя рдеет, пламя пышет...», где поэт тщетно стремится убедить себя, адресата (героиню, присутствие которой превращает «темный сад» в «рай») и читателя в том, что физически ощутимый близкий пожар не способен разрушить обретенное счастье: «Треск за треском, дым за дымом, / Трубы голые торчат, / А в покое нерушимом / Листья веют и шуршат. / Я, дыханьем их обвеян, / Страстный говор твой люблю... / Слава богу, я с тобою, / А с тобой мне — как в раю»¹³. Характеризуя это стихотворение, Ю.М. Лотман

¹⁰ Архаичное ударение здесь отсылает не к элегии «На холмах Грузии лежит ночная мгла...» или поэзии Пушкина (как должен подумать в первый момент читатель), но к классической (пушкинской в широком смысле) традиции в целом.

¹¹ Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 109–110.

¹² Если у Самойлова весенние мотивы прямо присутствуют в тексте, а биографические данные их только подтверждают (поездка в Чехословакию проходила в апреле–мае 1967; см. Самойлов Давид. Поденные записи. Т. 2. С. 30–32), то у Тютчева осень скорее угадывается, что и учтено в принятой датировке: «Сентябрь, конец... Октябрь, первая половина <1830> По пути из Петербурга в Мюнхен» — Летопись. С. 104. Заметим, что осень у Тютчева вовсе не обязательно оказывается «бесцветной» — ср. хотя бы хронологически близкий «ливонским» стихам «Осенний вечер».

¹³ Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 106, 190.

указывает: «...первые четыре стиха дают отчетливое пространственное расположение: огонь и прохлада разделены рекой, точка зрения текста совмещена с пожаром, а царство тени и безопасности — “темный сад” — расположено по *другую* (курсив Лотмана. — А.Н.) сторону реки <...> Но следующие стихи решительно меняют ориентацию текста <...> Местоимения “тут” и “там” переносят точку зрения в “темный сад”, а “жар и крики” оказываются “там”, то есть видятся и слышатся из-за реки»¹⁴. Перемена позиции в «Пламя рдеет, пламя пышет...» не может (и не должна!) уничтожить в сознании поэта (и читателя) первоначальную пространственную организацию текста (а равно ее психологическую и философскую проекции). Внутритекстовая антиномичность прямо соотносится с антиномичностью поэтического мира Тютчева, где едва ли не любой резко проведенный тезис может (и даже должен) обрести не менее убежденно проговоренный антитезис, а смысловые конфликты скрыто компенсируются неуловимым, но ощущаемым единством лирического «я». В силу антиномического строя тютчевской поэзии спор с Тютчевым оборачивается спором лишь с одной из многих его ипостасей, что предполагает, во-первых, консолидацию (вплоть до отождествления) оппонента с «другим» Тютчевым, а во-вторых, появление в тексте иных (словно бы прямо к делу не идущих) тютчевских реминисценций. Так и получилось в «богемском» стихотворении Самойлова. Природа не молчит об истории и будущем, но говорит о них так, что поэт может ее словно бы не слышать – до той поры, пока пророчество не станет явью: «пламя» ворвется в «сад», идиллия обернется трагедией, и это предсказуемое (хотя прежде и «как бы» игнорируемое) превращение отзовется искренним ужасом, сквозь который будет проступать восторг от сопричастности «минутам роковым».

В свою очередь героическое приятие катастрофы не освобождает от тоски по утраченному блаженству неведения и отчаяния от неизменности (цикличности) исторического процесса, в духе тютчевской реакции на польское восстание (1863). Торжественно провиденциальный финал стихотворения («Велико, знать, о Русь, твое значенье! / Мужайся, стой, крепись и одолей!») парадоксально мотивирован его кошмарным зачином, где отчетливо звучит мотив исторической повторяемости: «Ужасный сон отяготел над нами, / Ужасный безобразный сон: / В крови до пят, мы бьемся с мертвецами, / Воскресшими для новых похорон»¹⁵.

Приравнивание ввода советских войск в Чехословакию и подавления польских восстаний в XVIII–XIX вв. было общим местом оппозиционного дискурса 1968 года. Достаточно напомнить о польском по генезису лозунге «За вашу и нашу свободу» на одном из плакатов, с которыми 25 августа вышли на Красную площадь восемь демонстрантов. Самойлов, несомненно, знал о замысле молодых диссидентов; в написанном накануне их выступления (24 августа) стихотворении возникают две характерных детали: «лобное место», рядом с которым будут подняты плакаты, и уточняющая редакция легендарного лозунга: «В этой Праге золотой / Возле Града — возле Градчан, / Оплеснись живой водой / И незрячий — станешь зрячим. // Будешь видеть все ясней — / Что такое дело чести — / С розой встать на лобном месте — / Не за Прагу — рядом с ней» (500). Прозрение и оживание (ср. фантастический мотив воскресших мертвецов в антипольских стихах Тютчева) здесь тождественны избавлению от прошлогоднего мнимого блаженства «в неведение будущих бед», но избавление это лишь грезится. Тот, кто не смог стать зрячим «возле Града», не сможет и отстоять собственное достоинство, встать «Не за Прагу — рядом с ней». Тот, кто предпочел не слышать речь «почвы» и «хмеля», способен лишь на бессмысленные самообвинения, но не на гражданский подвиг. Об этом Самойлов сказал в третьем «чешском» стихотворении, дополняющем и корректирующем (можно сказать — по-тютчевски) «гражданский» и «элегический» отклики на трагедию августа 1968-го. «Не у кого просить пощады / И не за

¹⁴ Лотман Ю.М. Заметки по поэтике Тютчева // Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб., 1996. С. 559.

¹⁵ Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 209.

что просить прощенья. / Все адские чаны и чады / Почтеннее, чем отвращенье. // Но как перед собой ни ахай, / И как внутри себя не ной, / Но выбор меж пивной и плахой / Всегда кончается пивной» (500). «Адские чаны и чады» и ассоциирующаяся с Чехией и ее столицей «пивная» (напомним о пражской пивной «У чаши», прославленной популярным в СССР романом о бравом солдате Швейке) паронимически соотнесены с «чашей», из которой, как небожители, пьют счастливицы тютчевского «Цицерона»: их удел — бессмертье, наш — отвращенье¹⁶.

Отвращенье непреодолимо, ибо «имперский» соблазн Тютчева государственнику Самойлову вовсе не чужд. Весной 1967 года в Чехословакии он не хотел слышать «почву» и «хмель» не только потому, что искал блаженства, но и потому, что был удручен общественными реалиями «ближней страны», о чем свидетельствует ряд дневниковых записей, наиболее жестко и определенно — сделанная 6 мая: «В Праге. Получилось так, что для них мы, «освободители», — хуже фашистов <...> / Смирные чехи забыли Освенцим. Они с удовольствием вспоминают времена *рабства* [курсив Самойлова. — *А.Н.*]. И ненавидят нас. / Мы немало для этого сделали. Но эта мещанская, лакейская нелюбовь к нам неприятна»¹⁷. Тогда, в 1967-м, уроки истории были забыты, теперь, после вторжения, — вспомнились. Сегодняшний стыд оживляет стыд за прошлогодний самообман, за «каникулярный» отказ от исторической памяти и трезвой оценки ближайших политических и личных перспектив. «Будущие беды», весть о которых поэт не расслышал, это не только «наведение порядка» в возмечтавшей о свободе Чехословакии, но и закручиванье гаек в метрополии, одной из жертв которого весной 1968 стал Самойлов (см. примеч. 1).

Между тем чехословацкие впечатления Самойлова могли бы настроить его и на иной лад; неприязнь к былым освободителям могла быть истолкована в контексте наступающих в СССР заморозков, годом раньше уже сказавшихся на Самойлове. 6 июня 1966 в дневнике записано: «Сегодня должен был уехать в Прагу. Меня не пустили из-за пристрастия к эпистолярному жанру. Мы просили о помиловании Даниэля и Синявского. Не больше»¹⁸. Годом позже поэту все же дозволили получить в Праге премию «За выдающиеся переводы чешской поэзии и пропаганду чешской культуры», а заодно проехаться «по холмам Богемии». Видимо, это послабление в какой-то мере обусловило и его раздражение на чехов, и его неспособность расслышать и понять «разное» в весеннем говоре природы, то есть в какой-то мере отождествиться с «я» тютчевского «Пламя рдеет, пламя пышет...».

В 1966-м году вместо оказавшейся на замке ЧССР Самойлов поехал в другую «ближнюю страну», Литву – о ту пору всем советским людям доступную без разрешения начальства. Надо думать, что память о вынужденной смене маршрута (1966) и горькое переосмысление путешествия в то ли идиллическую, то ли квазиидиллическую (мещанскую) «Богемию»¹⁹ (1967) усилили и без того актуальный исторический польский подтекст вторжения в Чехословакию и обусловили тютчевскую окраску стихов о блаженном «неведенье будущих бед».

Это предположение укрепит, если вспомнить о более раннем обращении к городу, в который Самойлов отправился в июне 1966-го года. Имеется в виду стихотворение с неожиданным названием — «Утро. Старая Вильна» (1963). Именование

¹⁶ Как было отмечено выше, оба стихотворения не были напечатаны при жизни поэта. Самойлов не отдал их в самиздат (ибо не видел смысла в публичном покаянии, не способном отменить или ослабить грех автора) и не опубликовал по сокрушению цензурных барьеров в перестройку (по той же причине, усугубленной безразличной неприязнью к дозволенной смелости).

¹⁷ *Самойлов Давид*. Поденные записи. Т. 2. С. 34. Характерно, до августа 1968 впечатления от пребывания в Чехословакии отозвались лишь ерническим стихотворением о недоступном в России (не введенном в обиход забывчивым Петром Первым) гастрономическом изделии — «Карловарские вафли...» (493–494).

¹⁸ Там же. Т. 2. С. 28.

¹⁹ Для выбора старинного топонима могли быть существенны и ассоциации с пасторальной Богемией «Зимней сказки» Шекспира.

этого города в женском роде (ср. польское Vilno и литовское Vilnius) обычно для русской словесности XIX – начала XX вв.²⁰, но после 1940 года, нарушая государственную норму, должно нести дополнительную смысловую нагрузку. Естественно предположить, что, избирая архаическую форму, поэт хочет акцентировать «русскую» статью города, значащегося столицей союзной республики, однако ничего похожего в тексте Самойлова нет. Единственная национальная примета – имя великого князя литовского, а тема стихотворения — неизменность города, сохранившего черты деревни, всегда — хоть в XIV, хоть в XX веке — «старого» и «молодого» (на что указывает первое часть названия — «Утро»). «Воркует голубь толстый, сытый/ Над мостовой дождем промытой./ Долдонит дурень: до-ре-ми! / Дудит над спящими людьми. / Так было и при Гедимине: / Дымился огонек в камине, / И толстый голубь ворковал, / И парень девуку целовал. / И дул в трубу дурак упорный, / И шла старуха в шали черной...» (483–484)²¹.

В таком контексте русская огласовка топонима в заглавии обретает ироническое звучание. Рисуя городскую идиллию, Самойлов оспаривает историософско-политическую концепцию Тютчева, явленную в стихотворении «Над русской Вильной стародавней...» (1870), где оживленное ныне «святое первоначальных лучших дней» (торжествующее православие) противопоставлено «позднему былому» (оно же — «веки искушенья», то есть господства католичества)²². Суть тютчевского текста Самойлов безусловно понимал, хотя, разумеется, не смог бы интерпретировать и контекстуализировать его с тем тщанием и блеском, как это сделано в позднейших специальных работах²³. Трагически осмысляемой длящейся истории Самойлов противопоставил вневременное обыденное бытие, с неизменными скорбями, радостями и глупостями, чаянию (утверждению) истинной (и национально окрашенной) веры — значимое отсутствие каких-либо религиозных и национальных символов (можно, коли хочется, сказать по-старому — «Вильна», но от того она «русской» все равно не станет), смутной (и потому особенно страшной) тревоге о грядущем — снисходительную усмешку над поэтом, замороженным идеологическими химерами (общими и собственными). Самойлов заметил всегдашнюю амбивалентность тютчевской мысли (и эмоционального состояния): как бы победительно ни звенела «православная медь» восстановленных храмов и вторящих им поэтических строк, но «позднее былое» для Тютчева не исчезло вовсе: «В тот час, как с неба месяц сходит, / В холодной ранней полумгле, / Еще какой-то призрак бродит / По оживающей земле»²⁴. Этот тревожащий покой живых призраков в «утреннем» стихотворении заменен дурнем, что век за веком мешает людям досматривать сны, дудя на трубе все тот же фальшивый марш. Похож этот плотский (жизненный) персонаж не на зловещего агента Рима, но на поэта-идеолога, назойливо ведущего свою мелодию (без которой, впрочем, бытие утреннего стародавнего города тоже не полно).

В 1963 году полемика с Тютчевым носила игровой характер, судя по всему, большого значения стихам о виленском утре поэт не придавал: текст их был опубликован лишь в посмертном сборнике «Черта» (М.: Весть, 1994), хотя едва ли мог бы вызвать

²⁰ Ср. особенно выразительный (ибо речь идет об одной из столиц чужого и недавно враждебного государства) пример в «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашева»: «Варшава нам и Вильна/ Прислали свой привет» — Толстой А.К. Полн. собр. стихотворений и поэм. СПб., 2004. С. 278.

²¹ «Космополитичность» «Старой Вильны» особенно ощутима в соседстве с написанным в тот же день стихотворением «Дворик Мицкевича», в котором пять раз (в одном случае — варьируясь) повторяется зачин поэмы «Пан Тадеуш»: «Здесь жил Мицкевич. Как молитва / Звучит пленительное: Litvo, / Ojczyzno moja. Словно море / Накатывается: О, Litvo, / Ojczyzno moja» (138-139): польские (по языку), литовские (по чувству), записанные латиницей строки Мицкевича переплетаются, прихотливо рифмуются, связываются аллитерациями с «кириллическими» строками русского поэта.

²² Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 254.

²³ Лейбов Р. Стихотворение Тютчева и «Русская Вильна» А.Н. Муравьева // В честь 70-летия профессора Ю.М. Лотмана. Тарту, 1992. С. 142–147; ср.: Лейбов Роман. «Лирический фрагмент» Тютчева: жанр и контекст. Тарту, 2000. С. 61–68.

²⁴ Тютчев Ф.И. Указ. соч. С. 254.

противодействие цензуры. Пять лет спустя, когда польская трагедия XIX века повторилась (можно сказать, по закону тютчевской цикличности) в Чехословакии, давний опус (как и указанные выше житейские обстоятельства 1966–67 гг.) стимулировал общую «тютчевизацию» стихотворения на (политический) случай²⁵.

Ясно, что реакция Самойлова на вторжение в Чехословакию радикально отличалась от тютчевской апологии подавления польского восстания и русификации Западного края. Но столь же ясно, что «богемское» (и предшествующее ему «виленское») стихотворения Самойлова не могут быть названы антитютчевскими. Антиномичность, семантическая многомерность, принципиальная фрагментарность (подразумевающая недоговоренность и неопределенность, парадоксально сочетающуюся с категоричностью) лирики Тютчева (в том числе – политической) заставляют Самойлова даже и оспаривать Тютчева на его языке, тем самым приближая младшего поэта к старшему. «Тютчевиана» Самойлова куда менее приметна, чем его «пушкиниана», но не менее для поэта значима и, пожалуй, нагружена более интимными (обостренно личными и потому — затаенными) смыслами. Такое отношение к Тютчеву, кажется, и обусловило маскировку тютчевских «полей» как бы пушкинскими (ибо «пушкинские» — недостижимы!) «холмами».

Не имея возможности рассмотреть здесь все «тютчевские» опыты Самойлова²⁶, обратим внимание на сюжет, что корректирует остроту поэта, сохранившуюся в памяти Р.Г. Лейбова. На одном из выступлений в Тартуском университете Самойлов назвал Тютчева автором двух поэтических книг — великой (прекрасной? гениальной?) и посредственной. Предмет шутки — структура описанного в сноске 9 двухтомника тютчевской «Лирики» (серия «Литературные памятники»), где переводы, политические (и другие, как сказал бы Р.Г. Лейбов, «оказиональные») стихотворения и некоторые тексты, не удовлетворявшие изысканный вкус составителя, отнесены во второй том. Как было показано выше, отношение Самойлова по крайней мере к некоторым образчикам политической лирики Тютчева было не столь однозначным. Вывод этот подтверждает стихотворение «Мы — декабристы без Сенатской...» (1986), снабженное модифицированным (точным по смыслу, измененным по форме) эпиграфом из пьесы «14-е декабря 1825» — «не хватит вашей крови скудной...» и завершающееся опровержением

²⁵ Несколько иначе стихотворение «Утро. Старая Вильна» (и — хотя не столь отчетливо — отклики на события августа 68-го) отозвались в еще одном самойловском опусе — написанном буквально накануне гибели империи (1983–1984) и, видимо, трудно давшемся автору (работа над текстом была прервана на несколько месяцев). В «державном» (и закономерно нагруженном державинской цитатой), посвященном поэту Альфонасу Малдонису (и содержащем имена поэтов Мартинайтиса и Марцинкявичуса) стихотворении речь идет о взаимном прощении народов и духовном единстве поэзии, коей должно одолеть различье языков и вер (отсылка к пушкинскому «Он между нами жил»): «Люблю тебя Литва! Старинная вражда / Остыла. И мечи — давно добыча ржави. / Нас повела одна высокая звезда / И нам судила жить в одной державе. // Давно осуждено поправление святынь. / Простили мы тебя, и ты прости нас. / И ныне тешит слух твоих имен латынь: / Марцелиус, Юстинас. // Литва, молись за нас! Я за тебя молюсь. / Мы вдруг соединим Царьград с великим Римом. / И слезы потекут из глаз, / Разъедены отчизны общим дымом» (329). Формула «поправление святынь» и греза о соединении второго и первого Рима в Риме третьем сложным образом (прямо и полемически) отсылают и к тютчевской мифологии в целом, и к стихотворению «Над русской Вильной стародавней...» В целом же стихи звучат как родственное самогипнозу заклятье от близящейся беды и внутренней тревоги поэта, отнюдь не уверенного в том, что «теперь уж не прервется нить / Любви, судьбы, искусства» (330). Подобно Тютчеву, Самойлов видит «призрак» страшного былого — многовекового и «позднего».

²⁶ Укажем, например, на иронический перепев «Кончен пир, умолкли хоры...» в стихотворении «Что сказать официанткам...» (1973), позднее ставшем основой для поэмы «Канделябры» (1978), антитезу «медленного и мгновенного горения» (с явной отсылкой к «Как над горячею золой...») в «Кто устоял в сей жизни трудной...» (1970), дважды возникающую автохарактеристику со сравнением с вышедшими из употребления звуками и / или буквами («Я устарел, как малый юс...», 1978, здесь видны и другие следы Тютчева; в «Наверно, все давно ушло...», 1980, намек прояснен: «Мы устареет, как фита, / И выпадет из алфавита»; «Фита» — тютчевский инициал), скрытый автобиографизм «Старого Тютчева» (требующий особенно тщательного анализа), доминирование «тютчевской» фрагментарности в книге «Голоса за холмами», тютчевский эпиграф итоговой поэмы «Возвращение» (1988)...

тютчевского тезиса (с опорой на его лексику, синтаксис и рифмовку): «В своей работе многотрудной / Мы преуспеем, может быть. / И хватит нашей крови скудной, / Чтоб вечный полюс растопить» (643–644)²⁷.

Внутренняя дихотомия тютчевского отклика на роковой исторический пароксизм переходит в текст Самойлова, сложно сопрягаясь с его многолетней (и противоречивой) рефлексией в связи с восстанием декабристов, их последующей судьбой и ролью в русской истории. Закономерность обращения в «декабристских стихах» к тютчевским формулам становится понятной при обращении к другому сочинению Самойлова — очерку «Предпоследний гений». Характеризуя там свое приближающееся к инвективе послание «Пастернаку»²⁸, поэт писал: «“Так где же ваша музыка во льду?” — задиристо спрашивал я. И не мог понять я тогда, о какой музыке и каком льде говорил Пастернак. О том самом льде, о вечном полюсе Тютчева, который растопить не хватит нашей крови скудной. А Пастернак писал о музыке. И значит, о том, что не скудна кровь»²⁹. Очевидно, что Самойлов воспринимает «14-е декабря 1825» как текст не только политический, но и метафизический, а в Тютчеве видит не только оппонента, но и сочувственника «лейб-гвардии бунтовщиков», что усложняет и его размышления об одном из ключевых мифов русской истории. При этом в переработанной редакции («С любовью дружеской и братской...», 1989) поэт уберет и эпиграф, и цитацию в концовке, дабы усилить мотив надежды на будущее, резко и горько оспоренный в двух следующих текстах сформировавшегося цикла «Три стихотворения». В итоге подвиг «декабристов без Сенатской» (которому в первой части триптиха пророчится благоговение просвещенных потомков) оказывается столь же обреченным, что и подвиг тех, кто на Сенатскую вышел: «И в упоенном нетерпенье / Рвем узы тягостных тенет. / И сокрушаем угнетенье, / Чтоб утвердился новый гнет» (562–563). Оспоренный, а затем исчезнувший Тютчев свое слово все же произносит.

Конфликтный диалог Самойлова со спорящим с самим собой Тютчевым кажется достаточно близким той интерпретации стихотворения «14-е декабря 1825», начало которой положено в захватывающем и предполагающем скорое развернутое продолжение новейшем исследовании³⁰.

²⁷ Ср.: «О жертвы мысли безрассудной, / Вы уповали, может быть, / Что станет вашей крови скудной, / Чтоб вечный полюс растопить» — *Тютчев Ф.И.* Указ. соч. С. 72.

²⁸ Написанное на фронте послание автор показывал в 1946 году как друзьям, так и сторонним литераторам; при жизни Самойлова не печаталось. Подробнее см: *Немзер Андрей.* Послание «Пастернаку» Давида (еще не) Самойлова (в печати).

²⁹ *Самойлов Давид.* Перебирая наши даты. М., 2000. С. 317.

³⁰ *Лейбов Роман, Ошоват Александр.* «Вас развратило самовластье»: комментарий к тютчевскому стиху // *Соп атоге: Историко-филологический сборник в честь Любови Николаевны Киселевой.* М., 2010. С. 272–283.